

Книга 1: «Первый дождь» (The First Rain)



Максим Орлов

Максим Орлов

Книга 1: «Первый дождь» (The First Rain)

<https://litres.ru/74313973>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мир покрыт пеплом, а люди греются у костров, в которых горят чужие души.

Корпорация «Архос» даёт выжившим Источник — голубой свет, спасающий от безумия. Но какова его цена?

Семья Ильи Рогова исчезла, оставив лишь тёплый амулет и запись в мёртвом терминале: «Субстрат. Переработка завершена». В поисках правды Илья идёт через Пустоши к Сектору Один. К нему присоединяются бывший военный, беглянка из элиты, женщина с чужими именами на коже и дрон-перебежчик.

Вместе они раскрывают страшную тайну: Источник — это выжатые человеческие сознания. А их путь — замкнутая петля, повторяющаяся сотни раз. Система питается их страхом, виной и самим фактом мучительного выбора.

Когда перед Ильёй встаёт дилемма: уничтожить Сердце сети, убив тех, кто ещё тлеет внутри, или сбежать, чтобы вновь

проснуться в руинах, — он отказывается играть по правилам. Он выбирает то, чего нет в меню. Третий вариант.

Роман о трусости, которая становится топливом, и о свете, стоящем слишком дорого.

Содержание

Глава 1. Тёплый металл	5
Глава 2. Прах Пустоши	22
Глава 3. Четырнадцать процентов	37
Глава 4. Разница в результатах	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Максим Орлов

Книга 1: «Первый дождь» (The First Rain)

Глава 1. Тёплый металл

Сначала был запах — не свет, не боль, не звук, а гарь пополам с чем-то сладковатым, липким, оседающим на языке, как сироп, забытый в жару. Илья Рогов вдохнул его прежде, чем понял, что дышит прежде, чем вспомнил, кто он и почему лежит щекой в тёплой золе.

Он не проснулся: проснуться — это когда есть куда возвращаться. Он выплыл медленно, толчками, как всплывает утопленник, чьё тело решает за него, что пора наверх.

Серо-рыжее небо висело низко, будто на него навалили слишком много пыли, и пыль давила сверху, не желая падать до конца. Илья моргнул, ресницы слиплись, он провёл правой рукой по лицу — левой почему-то не хотелось шевелить, — и пальцы оставили на щеке борозду, обнажив кожу под слоем пепла.

Пепел был везде. Он лежал в том, что три дня назад называлось домом.

— Ксюша, — сказал Илья в пространство, где раньше сто-

яла кровать.

Слово вышло сухим, треснутым, чужим. Кровать сгорела, или её вынесли, или её никогда не было — нет, была, вот же чёрный прямоугольник на полу, чуть темнее остального, там, где дерево прогорело плотнее. Никто не ответил, и он не ждал: три дня уже никто не отвечал, но язык всё равно тянулся звать по привычке, как рука тянется к выключателю в комнате, где давно нет электричества.

Илья сел, мир качнулся и устоял, в голове стучало тупо и ровно, как капает из прохудившейся трубы. То, что он увидел вокруг, было не хаосом разрушения, а чем-то куда более страшным — порядком. Стены дома стояли, обугленные, но стояли; крыша провалилась в дальнем углу, где небо просвечивало сквозь рёбра стропил, но в остальном всё осталось на местах: дверной проём, оконная рама без стекла, печь, кружка на столе, целая, только чёрная от копоти. Всё, кроме людей.

Пожар — это когда рушится, когда огонь жрёт, обваливает, корёжит. Здесь же будто кто-то аккуратно вынул из дома всё живое — жену, двоих детей, тепло, голоса, ссоры из-за пустяков, запах хлеба по утрам — вынул пинцетом, стараясь ничего не задеть, и оставил декорацию, пустую сцену, на которой занавес так и не подняли, потому что актёров просто не привезли. Вот это и было невыносимо.

Илья встал на четвереньки, потом на ноги, его шатнуло к стене, ладонь ушла в мягкую сажу по костяшки, и он не сразу

узнал собственную руку: ногти обкусаны до мяса, некоторые — с бурой каёмкой запёкшейся крови по краю. Он делал это во сне или пока выплывал, он не помнил, он вообще не помнил последних трёх дней — они провалились куда-то, оставив на своём месте серую пустоту с привкусом сиропа. Откуда он знал, что три? Он не знал, он чувствовал: тело чувствует время лучше головы, по тому, как затекли ноги, как ссохлась во рту слюна, как отросла на подбородке колючая щетина. Три дня, плюс-минус, или четыре — кто считал.

Он вышел во двор. Деревня лежала под тем же низким небом, восемь домов, которые он помнил наперечёт: его крайний, дальше Петровы, потом дом с синими ставнями, где жила старуха Марья, потом кузня. Теперь все они были одинаковыми — не сгоревшими дотла, а обугленными аккурратно, как будто по ним прошли не пламенем, а идеей пламени, абстракцией огня. Ни одного тела: при пожаре остаются кости и тот запах, который ни с чем не спутаешь, а здесь — только пепел, металл да сладковатая пыль, оседающая на всё ровным рыжим слоем. Люди просто перестали быть.

Он знал эту формулировку — так «Архос» описывал перемещённых, «перестал числиться в секторе», сухо, канцелярски, будто речь о списанном инвентаре, и тогда он думал, что это эвфемизм для «убит», но теперь, стоя посреди деревни без единого трупа, впервые засомневался, что понимал слово правильно.

Ноги сами повели его по кругу, мимо колодца, мимо поко-

сившегося забора, вдоль канавы, где летом квакали лягушки, и он шёл и грыз ноготь, вгрызаясь глубже, до основания, чувствуя солоноватый вкус собственной крови и не в силах остановиться, потому что руки надо чем-то занять и голову тоже, а голова начинала думать, а думать было опасно.

Он думал о разнице между трусостью и принципами. Снаружи они порой выглядят одинаково — человек стоит и ничего не делает, и поди разбери, отчего, из убеждения или из страха; разница вся внутри, в невидимой точке, где рождается решение, и только сам человек знает, что там на самом деле, хотя нет, иногда и сам не знает, иногда он так долго врёт себе, называя страх позицией, что забывает, где кончается одно и начинается другое.

Три года назад к нему приходил вербовщик. Илья остановился у колодца, положил обгрызенную руку на растрескавшийся сруб, и дерево было тёплым — всё здесь было тёплым, хотя огонь давно потух, и это тоже было неправильно, но он пока не давал себе на этом задержаться. Вербовщик приехал на гладкой белой машине без колёс, она висела над дорогой в ладони от земли, чуть покачиваясь, и от неё тянуло озоном; вежливый молодой человек в сером, планшет, улыбка, отработанная до миллиметра, и протокол лояльности — так называлась бумага, точнее, не бумага, а свет на экране, но суть та же: подпиши, и твоя семья в реестре, в реестре — значит, норма Источника, значит, свет в доме, чистая вода, дети не будут кашлять прахом по ночам, значит, тебя не тронут.

— А если не подпишу?

— Тогда вы вне сектора, — сказал молодой человек, и улыбка не дрогнула. — Это ваше право, «Архос» уважает выбор.

Уважает выбор — Илья тогда усмехнулся про себя этой формулировке, потому что между жизнью и не-жизнью нет выбора, есть ультиматум, завёрнутый в вежливую бумагу, и он отказался, и до сих пор помнил, как выпрямился, как в груди у него что-то затвердело и окрепло, и он сказал «нет, не подпишу, не хочу быть в вашем реестре, не хочу принадлежать», и молодой человек кивнул, будто ждал этого, убрал планшет и уехал на своей белой машине, и озон ещё долго висел над дорогой. Внутри у Ильи тогда пело: позиция, он назвал это позицией, он, деревенский мужик без образования, отказал Корпорации, перед которой стелились министры, пока министры ещё были, он сохранил достоинство, свободу, он рассказывал об этом Ксении вечером, и она смотрела на него, и в её глазах было что — гордость или страх, тогда он видел гордость, а теперь, три года спустя, стоя над колодцем в мёртвой деревне, вдруг понял, что там был страх, она боялась, она знала цену его позиции лучше, чем он сам, потому что позиции не кормят детей.

Вот в чём была правда, которую он прятал от себя все три года: красивый жест ничего не стоил ему в тот момент, но платили по счёту потом, каждый день, платила Ксения, стирая бельё в ледяной воде, потому что грелка без Источни-

ка не работала, платили дети, кашляя прахом, потому что фильтры без нормы — просто тряпки, платил он сам, глядя, как сохнут их лица, за три года, медленно, по капле, а он гордился, стоял у этого самого колодца и гордился нестигаемостью, пока сгибались они.

— Дрянь, — сказал Илья вслух, никому, потому что никого больше не было. — Какая же ты дрянь.

Ветер тронул пепел, поднял с земли тонкую рыжую струйку, покружил и уронил — прах, про который «Архос» твердил, что он вызывает безумие у тех, кто слишком долго снаружи без защиты Источника, что мозг без нормы начинает расслаиваться, как размокшая бумага. Илья вдохнул этот прах полными лёгкими и подумал: может, я уже, может, всё это — деревня, колодец, тёплый металл — уже расслоение, может, я лежу где-то в яме и вижу сны. Левый глаз заныл, он машинально поднял руку к чёрной повязке, под которой ничего не было, пустая глазница, старая рана, о которой он не любил вспоминать, но повязка иногда ныла, будто там ещё что-то оставалось, фантомное, чувствующее, и сейчас она ныла тупо, в такт стуку в голове.

На втором круге, у своего крайнего дома, он увидел гвоздь — обычный, вбитый в косяк у входа, кривовато, по пьяни, чтобы Ксения вешала связку сушёных трав; гвоздь пережил всё, огонь, идею огня, исчезновение людей, и торчал себе из обугленного дерева, чуть согнутый, а на нём висел амулет. Илья застыл: плоский овал потемневшего металла на кожа-

ном шнурке, тот самый, который она носила всегда, не снимала даже в бане, говорила — мамин, на удачу, хотя удачи он ей не принёс никакой, и он тысячу раз видел его на её шее, тысячу раз касался губами, целуя ключицу, знал каждую царапину на этом металле. Вот он висел на гвозде, аккуратно, повешенный — не оброненный в панике, не сорванный при борьбе, а снятый осторожно и оставленный здесь, для него, как знак.

Он протянул руку и снял амулет с гвоздя. Металл был тёплым — не комнатной температуры, а тёплым, как кожа, будто его только что держали в кулаке, будто минуту назад чья-то ладонь грела этот овал, а потом разжалась. Илья стоял, держа амулет на раскрытой ладони, и что-то в груди дёрнулось резко, болезненно, как рыба на крючке, выдернутая в воздух, где нечем дышать: три дня прошло, металл не может быть тёплым спустя три дня, металл остывает за минуты, за час — точно. Он сжал амулет в кулаке, поднёс к губам — не поцеловать, а проверить, вдохнуть, вспомнить; от него не пахло Ксенией, от него пахло прахом, как от всего здесь, но он был тёплым, и тепло переходило в ладонь, и Илья не мог понять, откуда оно берётся, и не хотел понимать, потому что все объяснения были одно другого хуже. Она была здесь только что? Нет, три дня, он чувствовал — три дня. Тогда почему тёплый? Он не знал, стоял и грыз ноготь свободной руки, смотрел на кулак, в котором была зажата единственная оставшаяся от жены вещь, и впервые за это утро глаза

защищало — не от праха; он сморгнул, стиснул зубы, потому что плакать — это уже конец, это сдаться, а он ещё не понял даже, что произошло.

— Где вы? — спросил Илья у пустого дома. — Куда вас?..

Дом молчал, дом хорошо умел молчать. Он сунул амулет в нагрудный карман, чтобы чувствовать его у сердца, и заставил себя думать не о том, что чувствует, а о том, что делать: чувства — это яма, в неё можно провалиться и не вылезти, а действие держит на плаву, хоть какое. Семья исчезла три дня назад, ни тел, ни борьбы, деревня выжжена странным ровным огнём, и кто это делает — «Архос», больше некому, у них машины, порядок, холодная аккуратность, с которой убирают людей, как пыль со стола; они забрали Петровых три года назад, тоже без криков, пришли на рассвете, погрузили, уехали. Мысль ткнулась в это имя и отскочила, как отскакивает рука от горячего, и Илья вытолкнул воспоминание обратно в темноту, где оно жило все эти годы: о Петровых — не сейчас, никогда, если получится.

Куда «Архос» девает людей — в сектора, перемещает, есть реестры, есть базы данных, и если семью забрали, они где-то числятся, живые или нет, но числятся, а значит, есть шанс узнать, есть цель. На краю деревни, за кузней, стоял терминал — старая штука, «Архос» ставил такие в каждой деревне лет десять назад, до Коллапса, когда ещё делал вид, что заботится, справочные терминалы, доступ к общей сети, «связь с миром», потом мир кончился, сеть легла, и тер-

минал стоял мёртвым столбом, серый ящик в человеческий рост, экран в трещинах, и его сын кидал в экран камешки, Илья ругал, а сам втайне усмехался: пусть кидает, всё равно не работает. Может, и не совсем не работает.

Он пошёл к терминалу быстрее, чем шёл до этого, почти побежал, спотыкаясь о битый кирпич, потому что надежда — гнусная штука, она хватается за горло и тащит, не спрашивая, есть ли основания. Терминал стоял на месте, обугленный по низу, экран в паутине трещин, но целый; Илья счистил рукавом сажу, тронул экран — ничего, ударил по боку ящика ладонью, потом кулаком, металл гудел глухо, он присел, нашарил внизу технический лючок, отковырял его обкусанными ногтями, один ноготь всё-таки сорвался, боль прострелила до локтя, он зашипел, но лючок открылся, и внутри, среди проводов и платы, тускло, еле-еле, теплилось голубоватое свечение. Источник — крошечный картридж размером с фалангу пальца, голубоватое вещество внутри, почти невесомое на вид, чуть колышущееся, будто дышит; Илья видел Источник и раньше, издалека, в чужих домах, в лампах богатых секторов, но так близко — никогда, и оно и правда было почти живым, от него исходило слабое тепло, и он вдруг подумал о тёплом амулете в кармане, и мысль эта была нехорошая, скользкая, и он её отогнал. Картридж почти пуст, свечение на донышке, но, кажется, ещё дышит.

Он пошевелил картридж в гнезде, тот сидел неплотно, прижал сильнее, и экран наверху дрогнул, мигнул, пошёл ря-

бью. Илья вскочил: на треснутом экране проступали буквы, кривые, разъезжающиеся по трещинам, гаснущие и вспыхивающие снова, «АРХОС», стилизованное пламя в круге, потом строки системного текста, обрывки, мусор — терминал не столько работал, сколько агонизировал, выплёвывая из умирающей памяти случайные куски.

— Реестр, — пробормотал Илья, тыча в экран. — Люди, списки, где...

Он не умел с этим обращаться, он умел колоть дрова, чинить забор, ставить силки, но пальцы сами, наугад, тыкали в мигающие строки, и что-то отзывалось, экран сменился, пошёл список имён, сотни, тысячи, они ползли снизу вверх столбцом, и напротив каждого — короткая пометка, и Илья вцепился взглядом в поток чужих имён из других деревень, из секторов, из городов, которых больше нет, и напротив почти каждого стояло одно слово, «перемещён», «перемещён», «перемещён», список тёк и тёк, и его затошнило от масштаба, от канцелярской ровности, с которой целый мир людей был сведён к столбику с пометкой.

— Стой, стой, — он ткнул в экран, поток замер, дёрнулся. — Рогов, Рогова, найди...

Он тыкал в буквы, складывал фамилию, ошибался, начинал заново, сорванный ноготь оставлял на экране бурые чёрточки, экран мигал, думал, умирал, оживал, голубое свечение внизу стало тусклее — картридж отдавал последнее. Экран замер, потом выдал строки, и Илья перестал дышать.

Три имени. Её полное, как в паспорте, который давно не нужен никому, подсвеченное умирающим голубым, настолько настоящее, настолько её, что у Ильи подкосились ноги и он оперся о терминал; ниже — сын, восемь лет, записанный по-домашнему, не «Дмитрий», а «Митя», и это почему-то было страшнее всего, будто тот, кто вносил его в реестр, знал, как зовут мальчика дома; ещё ниже — дочь, пять. Три имени, его, все три, и он ждал увидеть напротив то самое слово, «перемещён», он был готов к нему почти, потому что «перемещён» — значит, увезли, значит, где-то есть, значит, можно искать, можно идти, можно, может быть, дойти и вытащить.

Напротив их имён стояло не «перемещён».

Экран мигнул в последний раз, голубое свечение дрогнуло и погасло, выдавив на прощание лишь обрывок, два слова, которые Илья успел прочесть прежде, чем серебристо-серая мертвота накрыла стекло, и в ней отразилось его лицо — перекошенное, с чёрной повязкой, с раскрытым ртом. Он не понял этих двух слов, они не складывались во что-то понятное, но тело поняло раньше головы, как поняло время, как поняло три дня: тело сжалось в комок, свернулось внутри самого себя, потому что живых людей так не называют, так называют то, из чего что-то делают, материал, сырьё, и случилось что-то хуже смерти, потому что смерть — это конец, точка, понятное горе, а это было не концом, а превращением во что-то, и «что-то» пугало так, что Илья предпочитал

думать, будто не понимает.

— Нет, — он застучал по терминалу. — Покажи, что это, покажи...

Он бил по ящику, тряс его, лез в лючок, шевелил пустой картридж, но голубое свечение погасло совсем, и терминал молчал, как молчала деревня, как молчал дом, как молчало всё в этом выжженном мире. Он остался сидеть на корточках перед мёртвым экраном долго, минут пять, или десять, или три — кто считал, и в голове крутились два слова, которых он не должен был знать сегодня, не здесь, не так рано, и которые теперь не отпускали.

Он поднялся, колени хрустнули, небо стало ещё ниже, день клонился к вечеру, хотя дня, по сути, и не было, так, серая муть, чуть светлее по утрам, чуть темнее к ночи. Илья достал из кармана амулет — металл всё ещё был тёплым, чуть остыл, может, но тёплым, и теперь это тепло казалось не утешением, а насмешкой, или знаком, или ниточкой, тянувшейся оттуда, куда их увели, туда, где хранятся полные данные, в настоящих базах «Архоса», в Секторе Один, бетонной громаде далеко на западе, за пустошами, сердце всей их машины, куда идут недели и куда, говорят, не доходят. Только там могли быть ответы на два слова с мёртвого экрана, только там он мог узнать, что стало с Ксенией, с Митей, с Настей, и можно ли ещё что-то сделать — или уже нет.

Выбор был прост и невозможен одновременно: остаться здесь, в руинах, среди тёплого металла и мёртвых термина-

лов, и медленно сойти с ума от праха и вины, или выйти в пустоши, почти наверняка навстречу смерти, с единственной, тонкой, как та ниточка тепла, надеждой. Обе двери вели в темноту, остаться — умереть здесь, уйти — умереть там, и где тут выбор, если результат один, есть ли вообще выбор, когда все дороги ведут в одну яму, или это просто иллюзия выбора, любезно предоставленная, чтобы ты чувствовал себя человеком, а не тем, чем называли его семью на треснувшем экране. Он стоял между этими двумя дверями и грыз ноготь, и думал об этом по-настоящему, до самого дна, чего давно себе не позволял: что такое настоящий выбор, тот, где есть хороший вариант, тогда у него выбора нет, оба варианта одинаково плохи, или настоящий выбор — это как раз тот, где хорошего варианта нет, где ты выбираешь не между добром и злом, а между двумя видами смерти, и всё-таки выбираешь, потому что не выбрать — тоже выбор, самый трусливый из всех. Он знал про трусость всё, он был специалистом по трусости, три года назад он выбрал не выбирать, спрятался в погребе, зажал уши, пока наверху увозили Петровых, назвал это позицией, и вот к чему это привело — к тёплому амулету на гвозде и двум словам напротив имён его детей.

Больше он не спрячется. Решение пришло тихо, без пафоса, без затвердевшей груди, без пения внутри, не как три года назад, когда он гордо отказывал вербовщику, тогда было красиво и пусто, а сейчас — некрасиво и полно: он просто понял, что вернётся в дом, соберёт что есть и пойдёт, не по-

тому что верит в успех, он не верил, а потому что оставаться — значит окончательно стать тем, кем он был в погребё три года назад, человеком, который слышит и не выходит.

Спустился в погреб по памяти, в темноте, ощупью, и погреб уцелел, огонь сюда не дошёл, и это было почти обидно, что уцелело как раз то место, которое он ненавидел больше всего на свете, место, где он сидел, зажав уши.

На полках стояли припасы, немного: мешочек сухарей, которые Ксения всегда сушила впрок, кусок вяленого мяса, твёрдого, как подошва, фляга, нож, старый, но острый, он сам точил, камень, моток верёвки, и он складывал всё в холщовую сумку методично, стараясь не думать о том, что каждая из этих вещей была приготовлена для жизни, которой больше нет.

Сухари он завернул в тряпицу, и, укладывая свёрток, достал из кармана амулет — всё ещё тёплый, он уже не разобрал, — и положил его рядом с сухарями, к хлебу, к самому нужному, не в карман, не на шею, а в самую середину припасов, туда, где хранится то, без чего не выжить; он сам не понял, почему так сделал, просто рука так сделала, как будто амулет — тоже еда, как будто без него он тоже не выживет, может, и так.

Он застегнул сумку, поднялся из погреба в последний раз, постоял в пустой декорации, где всё стояло на местах и не было никого, тронул чёрную от копоти кружку на столе, провёл пальцем по краю.

— Я найду вас, — сказал Илья. — Слышите, я найду, где вы, и что с вами, я н-не... я больше не буду сидеть.

Голос дрогнул на слове «сидеть», он заикнулся, споткнулся, прислушался к себе — где тут ложь, в том, что найдёт, или в том, что не будет сидеть, он не знал, но заикание было, значит, где-то он всё ещё врал себе, как всегда, как обычно. Ну и пусть.

Он вышел из дома.

Солнце, если эту мутную кляксу можно было назвать солнцем, висело низко над западом, куда лежал путь, небо на западе было чуть светлее, с рыжеватым отливом, будто там, за краем пустошей, что-то ещё тлело.

Илья закинул сумку на плечо, амулет внутри качнулся, стукнулся о флягу глухо и тепло, ветер поднял с земли струйку праха, закружил её перед ним, почти как приглашение, или предупреждение, он не разобрал, и перед тем, как шагнуть за околицу, обернулся.

Деревня лежала за спиной — восемь обугленных домов под низким небом, мёртвый терминал у кузни, колодец с тёплым срубом, гвоздь без амулета, всё, что было его жизнью и что теперь было пеплом и двумя словами, которых он не понимал.

Он смотрел на это долго, запоминал, не потому что боялся забыть, а потому что чувствовал, странно и без всяких оснований, что видит всё это не в последний раз, что вернётся, что почему-то обязательно, неизбежно вернётся сюда, к

этому гвоздю, к этому колодцу, к этой тишине — нелепая мысль, откуда ей взяться, он гнал её и не мог прогнать.

— Ладно, — сказал Илья самому себе. — Пошёл.

Когда он сделал первый шаг, его нога опустилась на битый асфальт дороги, ведущей прочь от деревни, в пустоши, к Сектору Один, к правде или к смерти, а может, к тому и другому разом.

Прах скрипел под подошвами, сумка била по бедру, амулет внутри грелся у сухарей, тёплый, слишком тёплый, как рука, которая только что разжалась. Сзади оставалась деревня, где люди перестали быть, впереди лежало то, что осталось от мира, и Илья Рогов — высокий, рыжий, с чёрной повязкой на левом глазу и обкусанными до крови ногтями, честный до боли и трусливый до тошноты, любящий и виноватый, ищущий искупления за то, о чём не говорил вслух даже себе.

Он шёл на запад по мёртвой земле и думал о выборе, о том, что он только что выбрал, и о том, был ли это выбор вообще, или просто единственное, что можно сделать, когда всё остальное невозможно, а если единственное, то и не выбор, и тогда его несёт, как несёт струйку праха по ветру, и он только думает, что решает, а на самом деле кто-то уже решил за него, давно, задолго до этого утра, задолго до тёплого амулета на гвозде.

Кто-то — эта мысль была хуже всех остальных, и Илья, как умел, откусил её на середине вместе с очередным ногтем

и пошёл дальше, туда, где к западу небо тлеет рыжим и ветер нёс сладковатый прах.

Где-то там, глубоко под ногами, под битым асфальтом и мёртвой землёй, чуть слышно дышало голубоватое вещество — то, из чего теперь состоял свет, и то, чем, сам того не зная, только что стал каждый, кого он любил.

Глава 2. Прах Пустоши

Прах Пустоши — это не пейзаж, а диагноз.

Илья понял это не сразу, а к исходу первого дня, когда деревня давно скрылась за спиной, а впереди не открылось ничего, кроме того же самого, тянущегося без конца: битый асфальт, серо-рыжая пыль, ржавые скелеты того, что когда-то было домами, заводами, чем-то нужным людям, и здесь ничего не росло — не то чтобы земля выгорела, она просто перестала хотеть, как человек, который однажды ложится лицом к стене и больше не встаёт, не потому что болен, а потому что кончился. Он шёл на запад, и сладковатый привкус висел в воздухе постоянно, оседал на нёбе, забивался под язык, и сколько Илья ни сплёвывал, вкус возвращался — тонкий, как запах гнили под слоем сахара, как варенье, забытое в тепле и тронутое плесенью по краю.

Прах — «Архос» называл его прахом и пугал им всех, у кого не было нормы Источника: мол, вдохнёшь слишком много, побудешь слишком долго снаружи — и мозг поплывёт, расслоится, как размокшая газета, буквы поедут, смысл вытечет.

Илья не знал, правда ли это, он вообще многого теперь не знал из того, что раньше знал наверняка.

К полудню второго дня — если это был полдень, мутное пятно, заменявшее солнце, доползло до высшей точки и по-

висло, будто раздумывая, стоит ли вообще двигаться дальше.

Илья остановился у обломка бетонной стены, сел в её тень, которая была не столько тенью, сколько местом, где мути чуть меньше, и достал флягу. Вода отдавала железом и тем же сладковатым, он сделал два глотка, заставил себя убрать флягу, хотя горло просило ещё, и посидел, слушая тишину, — он слушал её так, как раньше, дома, слушал зимнюю ночь, когда дети наконец засыпали и в доме оставался только треск дров да дыхание Ксении рядом.

Та тишина была полной, живой, набитой людьми, спящими за стеной, а эта — пустая, гулкая, без дна, тишина места, из которого всё вынули и ничего не положили взамен: ни птицы, ни ветра толком, только иногда где-то далеко что-то оседало, скрипело, обваливалось само по себе — металл, уставший стоять, сдавался по частям, тихо, без свидетелей.

Достал инжектор: четыре деления, четыре дня; он повертел его в пальцах и сунул обратно — пока без нормы, решил он, пока голова ясная, а если начнёт плыть, тогда делить пополам и тянуть, но математика не сходилась, восемь половин против трёх недель.

А он знал, что не сходится, и всё равно откладывал, потому что инъекция — это признание, что пустошь сильнее его, а признание — тоже выбор, из тех, что он не любил. И вот в этой тишине пришла беда, которой он боялся сильнее праха, сильнее «Архоса», сильнее смерти впереди: у него появилось время думать.

Последние три года он не думал — он выживал, а это разные вещи, почти противоположные, выживание не оставляет зазоров.

Наколоть дров, залатать крышу, проверить силки, растянуть на неделю то, чего хватит на три дня, руки заняты, голова занята рядом, впритык, и в этой тесноте нет места для мыслей, которые лезут из глубины...

Мысли живут в паузах, а пауз не было, он сам следил, чтобы их не было, он был мастером по устройству себе бесконечной работы, лишь бы не садиться вот так, в тень, в тишину, наедине с собой.

Теперь пауза была — огромная, во весь горизонт, на недели пути. Из пустоты внутри стало подниматься то, что он давил годами, медленно, тяжело, как всплывает со дна пруда разбухшее бревно, которое, казалось, утонуло навсегда. Он честно не хотел, он даже встал, закинул сумку на плечо и пошёл дальше, будто от воспоминания можно уйти ногами, будто оно останется тут, у стены, если шагать быстрее, но оно не осталось, оно шло рядом, оно шло внутри, оно было терпеливее его.

Три года назад, на рассвете, он проснулся раньше всех — от звука, не от петуха, петухов к тому году уже не осталось, а от гула, низкого, ровного, механического гула, который ни с чем не спутаешь, если хоть раз слышал: так гудят машины «Архоса», гладкие, без колёс, висящие в ладони над землёй.

Гул шёл с востока, от дороги, и приближался медленно,

деловито, без спешки — так не едут те, кто боится, так едут те, кто знает, что им никто не помешает.

Илья лежал и слушал, и понял сразу, в ту же секунду, всем телом, ещё до того, как мысль оформилась в слова: это за кем-то.

«Архос» приезжает на рассвете за кем-то, и берёт, и увозит, и человек «перестаёт числиться в секторе».

Он лежал под тёплым боком спящей Ксении, дети сопели в углу, и гул полз ближе, и внутри у Ильи всё превратилось в один комок липкого, холодного, животного страха — не за них даже в первую секунду, а за себя, и вот эту первую секунду он потом ненавидел больше всего.

Он мог встать, он мог выскочить во двор, забарабанить в стену Петровым — они жили ближе всех к дороге, за них бы взялись первыми, — заорать, поднять деревню, дать людям хоть минуту, хоть полминуты, чтобы схватить детей и — куда? В лес, в овраг, в погреб, всё равно куда, но дать эту минуту, одну минуту криком, это всё, что от него требовалось, крикнуть.

Он не крикнул — он встал, тихо, чтобы не разбудить Ксению, и на цыпочках, босиком, по холодному полу, спустился в погреб, задвинул засов изнутри, сел на земляной пол между кадкой с квашеной капустой и мешком картошки, подтянул колени к груди и зажал уши ладонями, крепко, до боли, чтобы не слышать.

Всё равно слышал: ладони не спасают от такого, сквозь

них, сквозь дерево крышки, сквозь землю просачивалось — гул стал громче, потом стих, приехали, встали, хлопок, будто дверь, только мягче, голоса, ровные, спокойные, без крика с той стороны, «Архос» не кричит, «Архос» вежлив; а потом — женский голос, и он знал этот голос, Люба Петрова, тридцати с чем-то лет, кругловатая, смешливая, она подкармливала его Митю оладьями, когда мальчишка забежал к ним во двор, и её голос сорвался, взлетел, стал не голосом уже, а чем-то, чему нет названия. Детские — двое, Сашка, семь лет, и совсем маленькая, Оля, которой не было ещё и трёх, Оля, которую Илья держал на руках на её крестинах, если это ещё можно было называть крестинами в то время, и он знал их по именам, он знал их всех по именам. Он сидел в погребѣ, зажав уши, и повторял себе — тогда, в ту самую минуту, уже повторял, — что это не трусость, что это позиция, что если он выскочит, заберут и его, а тогда кто останется с Ксенией, с Митей, с Настей, кто будет их кормить, чинить крышу, ставить силки, что один в поле не воин, что криком «Архос» не остановишь, что он бы всё равно ничего не изменил, только погубил бы себя зря, а погубить себя зря — это не храбрость, это глупость, расчёт, и он назвал это расчётом, холодным, трезвым, мужским расчётом человека, который отвечает за семью и потому не может позволить себе роскошь геройства. Как гладко, как складно, как удобно ложились слова, одно к одному, кирпичик к кирпичику, стена, за которой можно спрятаться не хуже, чем в погребѣ. В погребѣ он просидел,

пока гул не ушёл, долго, час, может, или меньше, а когда вылез — деревня стояла, как стояла, только двор Петровых был пуст, дверь распахнута, на столе остывал завтрак, три миски, и оладьи, те самые, ещё тёплые, и никого, ни тел, ни крови, ни следов борьбы, как будто и не было, только тёплые оладьи на столе. Он тогда не додумал эту мысль про тепло, отогнал, а теперь, в пустошах, она вернулась и встала рядом с тёплым амулетом на гвозде — две тёплые вещи после исчезновения, и что-то в этом было, какая-то связь, но он и сейчас отогнал, не додумал, потому что додумывать было страшнее, чем не знать. Илья остановился посреди дороги, он не заметил, как ускорил шаг почти до бега, дыхание рвалось, в боку кололо, обкусанный указательный палец сам собой оказался у рта, и он грыз, грыз то, что осталось от ногтя, до крови, до соли на языке, мешавшейся со сладковатым. Вот в чём была самая мерзкая штука: он лгал себе про Петровых так же, как заикался, когда лгал вслух, тело не умело врать чисто, голос спотыкался на слове «не буду», а совесть спотыкалась на слове «позиция», и это было одно и то же спотыкание, один и тот же изъян, только в разных местах. Он мог сколько угодно строить свою складную стену из «расчёта» и «ответственности», но где-то в самом низу, в фундаменте, лежал простой, голый, некрасивый факт: он услышал, как за соседями пришла смерть, и спрятался, зажал уши, промолчал — не потому что берёт семью, это он приделал потом, задним числом, аккуратно, как приделывают ручку к чашке, а в ту

самую первую секунду, когда гул только полз с востока, он думал одно: только не за мной, только не ко мне, пусть за кем угодно, только не за мной — вот и вся позиция. — Дрянь, — сказал он вслух, в пустошь, второй раз за два дня, и голос прозвучал плоско, без эха, пустоши глотали звук, не возвращая. — Ты дрянь, Рогов. Мысль была невыносимой, и он сделал то, что делал всегда: откусил её на середине, буквально — прикусил язык, до боли, чтоб переключить голову на что-то простое, телесное, сплюнул розовым, поднял голову, посмотрел вперёд, потому что вперёд смотреть было легче, вперёд — это не назад. Пустоши не давали и этого, в том-то и была их подлость: они работали как зеркало, не отражали мир — отражали того, кто в них шёл, ржавые скелеты домов стояли, как стоял он тогда над Петровским двором, целые снаружи, пустые внутри, земля, которая перестала хотеть, была его землёй, его собственной, он тоже перестал хотеть чего бы то ни было, кроме как не чувствовать, тишина, из которой всё вынули, была тишиной его погребя, где он зажимал уши, и куда ни глянь — везде он, размазанный по горизонту, увеличенный до размеров мёртвого мира: он шёл не по пустошам, он шёл по самому себе, по своей вывернутой наизнанку трусости, разложенной на многие километры, и впервые за три года позволил себе назвать её этим словом, не «позиция», не «расчёт», а трусость, простое слово, короткое, как удар. Один раз ему показалось, что тень его ложится на асфальт с опозданием в полшага, он остановился — тень

остановилась вслед, и он сказал себе: устал, мерещится, и не стал додумывать, потому что додумывать было страшнее, чем не знать, как всегда. Странно, но от того, что он наконец назвал, не стало легче и не стало тяжелее — стало точнее, как будто он годами ходил с занозой и говорил себе, что это просто такая мозоль, а теперь наконец поднёс палец к глазам и увидел: заноза, чёрная, глубокая, вросшая, вытащить её он не мог, но хотя бы перестал называть мозолью. День клонился, мутное пятно поползло к западу, туда же, куда шёл Илья, и небо на западе снова, как вчера, как всегда, тлело рыжеватым, будто там, за краем, что-то дотлевало и никак не могло догореть до конца, и он шёл на этот отсвет, потому что больше идти было не на что. К ногам постоянно лезли мелочи, обломки чужих жизней, и он старался на них не смотреть, но глаз цеплялся сам: детский ботинок, ссохшийся, без пары, эмалированная миска, простреленная ржавчиной насквозь, кусок вывески — три буквы, «...РХО...», остальное съело время, и Илья усмехнулся криво, потому что даже здесь, в мёртвой пустоши, «Архос» умудрялся торчать из-под праха, как гвоздь из обугленного косяка. Символ в круге, стилизованное пламя, — он видел его на белой машине вербовщика, на экране терминала, на бумагах, которых давно нет, и вот теперь на ржавом обломке посреди ничего, и они любили этот образ — свет, тепло, энергия, цивилизация, — а мир вокруг был холодным пеплом, из которого этот их огонь всё уже выел. Он шёл и думал — теперь уже не про Петровых,

ту дверь он снова затворил, — а про Источник, про голубоватое вещество под ногами, дышащее где-то там, в глубине, под битым асфальтом: «Архос» говорил, что оно защищает разум от праха, что без нормы человек снаружи сходит с ума, и Илья шёл без нормы, второй день, дыша прахом полными лёгкими, и прислушивался к себе — не плывёт ли, не расслаивается ли, не поехали ли буквы, вроде нет, голова работала мутно, но не хуже обычного. Может, он уже давно поплыл и просто не замечает, потому что кто заметит собственное безумие изнутри, может, и деревня, и амулет, и эта дорога — уже расслоение, размокшая газета, где он дорисовывает буквы сам, и мысль была скользкая, и он привычно отогнал её, но она отогналась неохотно, оставив под рёбрами мерзкий холодок. Вечером он не решился разжигать костёр: во-первых, нечем толком, сушняка тут не было, только пластик да тряпье, которое горит вонюче и коптит, во-вторых, огонь виден, а кому он тут виден и стоит ли бояться — Илья не знал, и это незнание само по себе было причиной не рисковать. Он забился в нишу под бетонной плитой, привалился спиной к холодному, поел сухарей, размочив их водой, чтоб не сломать зубы, и, жуя, достал из сумки амулет. Металл был чуть тёплым — не как в первое утро, тогда он был тёплым, как живая кожа, будто минуту назад его держали в кулаке, а за два дня в сумке, среди сухарей, он должен был стать холодным, как всё вокруг, но он не был холодным, он был чуть тёплым, ровно, спокойно, как будто у него была своя,

маленькая, независимая от мира температура. Илья держал его на ладони и смотрел, и в сумерках плоский овал темнел на фоне бледной кожи, и Илья вдруг подумал: а ведь это тоже неправильно, как всё здесь неправильно, как ровный огонь без хаоса, как исчезновение без тел, как тишина без дна, всё в этом мире было чуть-чуть не так, на полшага в сторону от того, каким должно быть, и складывалось это в узор, которого он не мог разглядеть, — как будто смотришь на вышивку с изнанки: цвета есть, нитки есть, а картинки не видно, только узлы да протяжки. Он сжал амулет в кулаке, тепло перешло в ладонь, знакомое, почти утешительное. — Ксюша, — сказал он тихо, одними губами. — Я иду. Слышишь? Иду. Никто не ответил, он и не ждал, но говорить было надо — чтобы голос не заржавел совсем, чтобы не забыть, как это, обращаться к живому, а не к пустоши. Он положил амулет обратно, к сухарям, и попытался уснуть, и это удалось не сразу и ненадолго, урывками, и в этих урывках ему снился гул с востока и тёплые оладьи на пустом столе, и он просыпался с зажатыми ушами, ладони на голове, будто тело всё ещё пряталось, всё ещё сидело в погребке, и никак не могло оттуда вылезти. Вторая ночь была хуже первой: в первую он ещё нёс в себе оцепенение руин, отупляющую свежесть удара, во вторую удар прошёл, и осталась голая боль, и с ней — мысли, длинные, вязкие, лезущие изо всех щелей. Он лежал и думал про выбор — снова про выбор, как у порога дома, когда решал, идти или остаться: что если и тогда, три года назад,

в погреб, у него не было выбора, что если человек вообще не выбирает, а только думает, что выбирает, а на самом деле его несёт, как струйку праха по ветру, туда, куда дует, и тогда он не виноват, тогда с него взятки гладки. Он ухватился было за эту мысль — она обещала облегчение, она снимала камень, — но тут же выпустил, потому что почувствовал: это опять стена, ещё одна складная стена из красивых слов, чтобы спрятаться, «меня несло» — родной брат «это была позиция», разные обои, одна и та же комната, и в комнате этой сидит он, зажав уши. Нет, выбор был: в ту первую секунду, когда гул только полз с востока и никто ещё не проснулся, — был, и он выбрал погреб, сам, ногами, тихо, на цыпочках, по холодному полу, никто его не нёс, он дошёл до засова сам и задвинул сам. — Был выбор, — сказал он в темноту, вслух, чтобы отрезать себе путь к отступлению. — Б-был. Заикание, опять, значит, и в этом «был выбор» пряталась какая-то ложь, какой-то хвостик, за который тело его ловило: может, та, что он говорил это не столько по правде, сколько чтобы наказать себя, а самонаказание — тоже способ спрятаться, ещё более хитрый, потому что если ты сам себя грызёшь, то как бы уже искупаешь, как бы уже платишь, и можно грызть вечно, и никогда ничего не сделать, только грызть — ногти, себя, по кругу. Он не додумал и это, устал, задремал. Утро третьего дня пути наступило без утра — просто муть посветлела на восток самую малость, и Илья, не выспавшийся, разбитый, с песком под веками и сладковатым во рту, поднялся,

размял затёкшие ноги, доел вчерашний размоченный сухарь и пошёл, потому что идти было легче, чем лежать, в ходьбе есть ритм, а ритм глушит мысли лучше слов: шаг, шаг, хруст праха, шаг, вдох, шаг. Он вцепился в этот ритм, как в верёвку над пропастью, и час, может, два, ни о чём не думал вообще, был просто телом, переставляющим ноги на запад, и это было почти счастьем, если такое слово тут вообще применимо. Потом дорога поднялась на пологий гребень — насыпь, бывшая эстакада, что ли, — и с гребня открылось, и Илья остановился: впереди, километрах в трёх, может, в четырёх, расстояния тут ввали, муть съедала перспективу, из плоской, ровной, как стол, пустоши поднималось оно — небоскрёб, точнее, то, что от него осталось, верхние этажи снесло когда-то давно, срезало наискось, будто гигантским ножом, и обломок стоял, вздымаясь метров на пятьдесят, не больше, а вокруг него — обломки поменьше, соседние здания, стёсанные до основания, до пеньков, и издалека это было похоже на челюсть, на нижнюю челюсть с выбитыми зубами, несколько уцелевших торчат криво, обломанные под корень, чёрные провалы между ними, и вся эта пасть распахнута в мутное небо, будто мир, умирая, попытался что-то сказать, да так и застыл с открытым ртом. Зубы после драки — вот на что это было похоже, на рот человека, которому крепко дали, и он выплюнул половину, а остальное шатается. Укрытие — мысль пришла раньше страха: нижние этажи стоят, там стены, там крыша над головой, там можно переждать,

отдохнуть по-человечески, набрать воды, если есть где, отоспаться в четырёх стенах, а не в нише под плитой, и ноги сами понесли его вниз с гребня, к челюсти, и он даже прибавил шаг, и обкусанный палец в кои-то веки остался у бедра, а не у рта. Он прошёл, наверное, половину пути, и мусть чуть расступилась, дала разглядеть подробнее, и вот тут-то Илья и сбавил, потому что у подножия небоскрёба, на битой площадке перед единственным уцелевшим входом, что-то было — не камень, камни не двигаются, а это двигалось. Он остановился совсем, присел за обломок бетона, и в груди дёрнулось резко, как рыба, выброшенная на лёд, забилося, застучало о рёбра; он выглянул из-за края, сощурился, вытер слезящийся от праха глаз. Одна фигура была человеческой: сидела на чём-то, на ящике вроде, сгорбившись, неподвижная, тёмная на фоне серого бетона, и в этой неподвижности было что-то не сонное, не расслабленное, а собранное, как у зверя, который затаился, — человек, один. Второе — второе было не человеком: оно висело в воздухе, чуть в стороне от сидящего, на высоте головы, покачивалось едва заметно, вверх-вниз, и время от времени смещалось короткими рывками — влево, замерло, вправо, замерло, — так не двигается ничто живое, так двигается механизм, что-то летающее, небольшое, размером с крупную птицу, и оно жужжало, Илья не слышал звука на таком расстоянии, но видел, как оно висит, и знал, всем прошлым своим знанием знал: так висят машины «Архоса», только маленькие, дрон, раз-

ведчик, он видел таких издавека, они иногда шли над деревней, высоко, ровным строем, и люди прятались в дома, и он прятался тоже. Один и одно, человек и машина. Илья сидел за обломком, вжавшись в холодный бетон, и внутри у него разворачивалось знакомое, старое, стыдное: гул — не было никакого гула, дрон висел беззвучно за три версты, но в ушах у Ильи стоял тот самый рассветный гул с востока, и тело уже знало, что делать, тело помнило: спрятаться, зажать уши, переждать, пусть за кем угодно, только не за мной. Ноги хотели назад, спина вжималась в бетон, как тогда вжималась в земляную стену погреба, всё в нём кричало: обойди, уйди, пересиди в стороне, дождись, пока эти двое — один и одно — уберутся, а потом займи их челюсть, их укрытие, пустое и безопасное. Он грыз палец и смотрел на далёкую фигуру на ящике и на висящую рядом машину, и думал, что вот оно, опять, тот же самый выбор, только теперь не в погребе и не у порога дома, а здесь, на битой площадке пустошей: спрятаться или выйти, отсидеться или показаться, и он не знал ещё, как поступит, — знал только, что стоит на том же самом месте, что три года назад, в той же самой точке, где рождается решение, и что на этот раз рядом нет ни стен погреба, ни засова, ни ладоней, которыми можно зажать уши. Мутное пятно над головой поползло дальше на запад, прах оседал, дрон висел и покачивался, человек на ящике не шевелился. Илья сидел за обломком бетона, чуть тёплый амулет грел ему грудь через ткань сумки, и впервые за три года не знал на-

верняка, чем он окажется, когда придётся встать: тем, кто вышел, или тем, кто снова просидел в погребке, зажав уши, и это незнание — не про мир, а про себя — было страшнее всех пустошей, вместе взятых.

Глава 3. Четырнадцать процентов

Илья просидел за обломком бетона столько, что у него затекли ноги, и это в конце концов и решило дело — не совесть, не смелость, не долгий внутренний спор о том, кто он и чем окажется, когда придётся встать, а просто икры, которые свело, и колено, которое заныло, и мочевой пузырь, некстати напомнивший о себе, — тело устало прятаться раньше, чем душа устала бояться, и в этом, если вдуматься, была своя горькая правда: героем его так и не сделали ни пустоши, ни горе, ни три дня без семьи, зато обыкновенная судорога в ноге сумела то, чего не сумело всё остальное.

Он выругался — тихо, одними губами, — потому что понял: сидеть дальше нельзя, а обойти руины небоскрёба по широкой дуге, как хотело тело, значит потерять полдня, а то и день, уйти же в открытую пустошь без укрытия, без воды, без надежды на нишу и стены.

Это тоже был выбор, из тех, которыми он мастерски обманывал себя всю жизнь, потому что «обойти от греха подальше» звучало как осторожность, а на самом деле было тем же погребом, только на ногах.

Он это уже знал, он научился — за два дня, за один вчерашний день — ловить себя на подмене, узнавать родовые черты своей трусости, как узнают знакомое лицо в толпе, и от этого нового умения не становилось легче, наоборот, оно

мешало жить, потому что раньше можно было прятаться и не знать, что прячешься, а теперь спрячешься — и будешь знать.

— Ладно, — сказал он праху и бетону. — Ладно, чёрт с тобой.

И встал — медленно, во весь рост, из-за укрытия, подняв обе руки на уровень плеч, ладонями вперёд, как поднимают руки те, у кого нет оружия, а у него и не было, если не считать ножа на поясе, тупого, годного разве что резать сухари, — и остался стоять, открытый со всех сторон, видный за версту, на голой битой площадке

В груди колотилось так, что казалось, дрон услышит стук через все три версты и запишет в свои механические потроха. Дрон увидел раньше, чем Илья успел передумать: маленькая летающая тварь дёрнулась, развернулась в воздухе одним коротким рывком, замерла.

Илья почти физически ощутил, как невидимый луч ощущал его с головы до ног, прошёлся по повязке на глазу, по рыжей щетине, по поднятым рукам, по сумке на боку.

Человек на ящике не шевельнулся — не вскочил, не схватился за оружие, не крикнул, просто сидел, сгорбившись, как сидел, и это спокойствие пугало больше, чем испугала бы любая суета: так не ведут себя те, кого застали врасплох, так ведут себя те, кто застать врасплох себя не даёт.

Илья пошёл — шаг, ещё шаг, руки подняты, ноги ватные, прах хрустит под подошвами неприлично громко в этой

мёртвой тишине, триста метров, двести, сто.....

Он шёл и репетировал про себя первое слово, и слово выходило корявым, спотыкающимся, и он злился, потому что знал: если сейчас заикнётся, тот, на ящике, сразу поймёт, что Илья либо врёт, либо боится, а он боялся, значит, надо было хотя бы не соврать, чтобы заикание списалось на страх, а не на ложь.

Тут заговорил дрон.

— Вероятность враждебного контакта, — произнёс он ясным, почти уютным, чуть надтреснутым голосом, каким объявляют остановки в старом транспорте, — четырнадцать процентов.

Илья остановился: голос был не машинный — то есть машинный, но с интонацией, с ленцой, с какой-то издёвкой, будто цифру назвали не всерьёз, а чтоб посмотреть, как человек дёрнется, и Илья дёрнулся, не мог не.

— Э... — начал он и осёкся. — Остальные восемьдесят шесть — что с ними?

— Восемьдесят шесть процентов, — отозвался дрон с готовностью, — вероятность, что ты просто очередной дурак, который идёт умирать в Сектор. Их тут много ходит. Статистика набралась.

Человек на ящике впервые пошевелился — не встал, только поднял голову, и Илья увидел лицо: светлые волосы, отросшие неровно, будто стриженные ножом наспех, без зеркала, подтянутый, жилистый, из тех, у кого мышцы не для

вида, а от работы и голода, лет тридцать пять, может, сорок, возраст в пустошах врал, как расстояние.

Не это зацепило Илью — зацепил взгляд: человек смотрел на него и как будто чуть мимо, на полпальца в сторону, туда, где за плечом Ильи не было ничего, кроме пустоши, и всё равно там что-то было для этого человека, что-то, наложенное поверх реальности, видимое ему одному, и от этого взгляда делалось не по себе, потому что не понимаешь, с тобой говорят или с тем, кто стоит у тебя за спиной.

— Ноль, — сказал человек ровно, не поворачивая головы.
— Убавь остроумие. Пугаешь гостя.

— Гость сам себя пугает, — ответил дрон. — Я только озвучиваю.

Илья стоял, всё ещё держа руки на весу, и не знал, куда их деть: опустить — вдруг сочтут за движение к ножу, держать дальше — глупо, руки затекали, дрожали от усталости.

Он опустил — медленно.

— Можно, — разрешил человек, будто прочитал мысль.
— Не дёргайся к поясу — и живи сколько влезет. — Он помолчал, разглядывая Илью тем своим скользящим взглядом.
— Один?

— Один.

— Оружие?

— Нож. Т-тупой.

Заикание — Илья закрыл глаза на долю секунды, ну вот, вырвалось на самом простом слове, а он ведь не врал, нож

и правда был тупой, но тело всё равно споткнулось, то ли от страха, то ли оттого, что «тупой» вышло как оправдание, как «я не опасен, не бойтесь», а всякая просьба не бояться его самого была для тела ложью.

Человек это заметил, конечно заметил, и что-то мелькнуло в лице — не насмешка, скорее наоборот, узнавание, как будто он тоже знал, что такое спотыкнуться на слове.

— Тупой нож — честный нож, — сказал он. — Садись, что ли. Стоя разговаривать глупо.

Садиться было не на что, кроме битого бетона, и Илья сел на плоский обломок в паре шагов, чувствуя, как холод камня проходит через штаны.

Дрон подлетел ближе — теперь Илья разглядел его как следует: размером с большую птицу, приплюснутый, с четырьмя короткими лопастями в защитных кольцах, побитый корпус в царапинах и вмятинах, одна отметина явно от пули, металл вспух вокруг, как губа после удара, и на боку сохранился огрызок эмблемы — круг, стилизованное пламя, «Архос».

Увидев эмблему, Илья невольно напрягся, и дрон, заметив взгляд, качнулся, будто пожал плечами, если у дронов бывают плечи.

— Не бойся, — сказал он. — Я перебежчик. Как и он. Только я честнее — я хоть эмблему не спорол, ношу как шрам. Люди свои шрамы прячут.

— Ноль, — повторил человек, уже мягче, устало.

— Молчу.

Повисла пауза — не пустая, а рабочая, оценивающая, из тех, в которые двое незнакомцев в мёртвом мире прикидывают друг друга: опасен, не опасен, что за душой, куда идёт, разговор шёл, как разведка, а не как обмен, каждый выкладывал по крохе и смотрел, что отдадут в ответ, и не отдавал больше, чем получил.

Илья это чувствовал кожей: он вырос в деревне, где меняли яйца на гвозди и не любили тех, кто торопится, и знал, что кто первый выложит всё, тот и проиграл.

— Алексей, — сказал наконец человек. Просто имя, без фамилии, без «бывший такой-то», без истории. — Его зовут Ноль. Не спрашивай почему, он сам не помнит, а если и помнит — врёт.

— Помню, — вставил дрон. — Просто версия обидная.

— Илья, — представился Илья.

— Откуда идёшь, Илья?

— С востока. Деревня там была. — Он запнулся, но на этот раз не от лжи, а оттого, что слово «была» встало поперёк горла. — Сейчас нет.

Алексей кивнул — не сочувственно, а деловито, как отмечают факт; он вообще, заметил Илья, кивал часто, короткими движениями, будто ставил галочки в невидимом списке.

И ещё одно: он тихо напевал — не сейчас, не при разговоре, но в паузах, когда думал, из него выходила мелодия, без слов, без начала и конца, короткая петля из четырёх-пяти

нот, повторявшаяся и повторявшаяся, и Алексей, кажется, сам её не замечал, как не замечают собственного дыхания.

Илья заметил, и почему-то от этой мелодии, тихой, безобидной, ему стало холоднее, чем от дрона с эмблемой «Архоса».

На запястье у Алексея были часы — старые, механические, с потрескавшимся стеклом, и стрелки на них стояли, застыли на без четверти три, и по слою пыли, и по тому, как ремешок вытерся до белизны, видно было, что стоят давно, годы, а человек всё равно носит, каждое утро застёгивает, будто время для него остановилось именно тогда, без четверти три какого-то давнего дня, и он решил остаться там навсегда.

— Часы стоят, — сказал Илья, и тут же пожалел — не его дело.

Алексей глянул на запястье так, словно впервые увидел.

— Стоят, — согласился он. — Пять лет уже. Или шесть.

— Зачем носишь?

— Зачем ты носишь то, что в сумке?

Илья замер: он ничего не говорил про сумку, про амулет, ни слова, — и всё же Алексей смотрел на него своим скольльзящим взглядом мимо-и-сквозь, и в этом взгляде было понимание, от которого хотелось встать и уйти, потому что люди не носят с собой в пустошах ничего лишнего, значит, если носят — то не лишнее, значит, у каждого есть своя вещь, тёплая на ощупь, которую держат при себе не потому, что

она нужна, а потому, что без неё нельзя.

— Понял, — сказал Илья тихо. — Не буду больше.

— Да спрашивай. Просто знай: у всех тут по такой штуке, одна на человека. Он, — Алексей кивнул на дрон, — думает, это глупость. Сентиментальность. Балласт.

— Я думаю, — поправил Ноль, — что балласт помогает не всплыть. Иногда всплыть — хуже, чем утонуть. Так что носите на здоровье.

Илья невольно усмехнулся — впервые, кажется, за три дня, коротко, криво, и тут же осёкся, будто смех в таком месте был чем-то неприличным, но Алексей тоже дёрнул уголком рта, и что-то между ними чуть ослабло, отпустило на пол-оборота, как отпускает пружина, которую перестали крутить.

— Куда идёшь, Илья? — спросил Алексей во второй раз, теперь по-другому, не как часовой, а как попутчик.

И вот тут Илья решил: хватит меняться крохами.

Он устал считать, кто сколько выложил, три дня он не говорил ни с кем живым, три дня носил в себе то, что распирало изнутри, и если он не скажет сейчас, при этом чужом человеке с застывшими часами и его дроне-перебежчике, то, может, не скажет уже никогда, потому что дальше пустошь, а пустошь слушает молча.

— В Сектор Один, — сказал он.

Алексей не переспросил, не удивился, только чуть склонил голову набок.

— Далеко собрался.

— У меня семья пропала. Три дня назад. Жена, двое детей. — Слова пошли тяжело, но пошли, как идёт вода, если сдвинуть камень. — Ни тел, ни следов. Просто... не стало. Утром были, вечером нет. Только амулет остался. Её. — Он тронул сумку ладонью, коротко, будто проверил, на месте ли. — А в терминале, на краю деревни, я нашёл базу. Обломок базы. Имена. Их имена. И рядом пометка.

— Какая пометка?

Илья помолчал: слово было чужое, техническое, он выучил его за три дня наизусть, повторял на ходу, и всё равно оно не помещалось во рту, слишком гладкое, слишком холодное для того, что означало.

— «Субстрат», — сказал он. — «Уровень Альфа».

Что-то произошло — не громкое, тихое, но Илья почувствовал: Алексей не вздрогнул, нет, он был не из тех, кто вздрагивает, но напев оборвался, та петля из пяти нот, что тихо крутилась у него внутри, встала, как встали его часы, разом, посреди такта, и дрон — дрон, который до этого болтался в воздухе с лентой, покачиваясь, — вдруг замер намертво, как гвоздь, вбитый в пустоту, и лампочка на его боку, до того мигавшая ровно, зелёная, мигнула дважды и стала жёлтой.

— Повтори, — сказал Алексей.

— «Субстрат. Уровень Альфа». Я не знаю, что это. Думал, может, ты...

— Я не знаю, что это, — быстро сказал Алексей. Слишком быстро. Так говорят «не знаю», когда знают, но не хотят. Илья заикался, когда врал; Алексей, оказывается, торопился — у каждого свой изъян, своё спотыкание, только в разных местах.

Повисло молчание, теперь тяжёлое, набитое несказанным до края; дрон висел жёлтый и тихий, мутное пятно над головой поползло дальше на запад, тени — те, что тут были тенями, бледные, размытые — чуть удлинились.

— Ноль, — сказал Алексей, не сводя с Ильи взгляда, — вероятность.

— Обновляю, — отозвался дрон, и голос у него был уже без издёвки, ровный. — Вероятность враждебного контакта: четыре процента. — Пауза. — Вероятность, что этот человек нам полезен: считаю. ...Не хватает данных. — Ещё пауза, короче. — Вероятность, что мы все пожалеем об этой встрече: не считается. Слишком высокая для моей шкалы.

— Заткнись, Ноль.

— Уже.

Алексей встал — не резко, плавно, разворачивая тело, как разворачиваются те, кто привык вставать так, чтобы в любой миг быть готовым к чему угодно, и Илья снова увидел выправку под лохмотьями: спина прямая, плечи развёрнуты, ноги на ширине, вес распределён, — так стоят не крестьяне и не бродяги, так стоят солдаты, даже бывшие, даже сломанные, тело помнит стойку, когда всё остальное забыто.

— Ты военный, — сказал Илья. Не спросил.

— Был.

— «Архос»?

Алексей повернул к нему голову, и взгляд на этот раз попал точно в лицо, не мимо, и был он холодный, не злой, а именно холодный, как металл в ноябре.

— Не поминай эту контору при мне без нужды.

— Прости.

— Да. «Архос». — Он сказал это, будто выплюнул рыбью кость. — Служил. Долго. Думал, защищаю людей. Мне так и говорили: ты защищаешь людей, Алексей, ты стоишь между ними и хаосом, между ними и прахом, между ними и безумием. Красиво говорили. Убедительно. Я верил лет десять.

— А потом?

— Потом пришёл приказ. — Он замолчал; напев не вернулся, вместо него была тишина, и в этой тишине Илья слышал, как где-то далеко в руинах опять что-то осело, обвалилось само по себе, металл, уставший стоять. — Плановая операция. Так это называлось в бумагах. «Плановое перемещение ресурса из сектора». Красивые слова, гладкие, одно к одному. Я не буду рассказывать, что там было. Ты не готов. Я сам не был готов, а я стоял рядом и смотрел.

Илья не стал давить: он знал цену несказанному, сам носил в себе погреб, засов, зажатые уши, тёплые олады на пустом столе, и знал, что есть вещи, которые не выговариваются вслух, потому что стоит их выговорить — и они станут

настоящими окончательно, а пока молчишь, есть крохотная, подлая надежда, что не было, померещилось, приснилось.

— Я не выполнил, — сказал Алексей просто. — Отказался. Один раз в жизни сделал правильно — и людей всё равно не стало, их забрали без меня, другими руками, разница только в том, что теперь на тех руках не моя кровь, а толку — люди-то те же, пропали те же.

Он посмотрел на свои стоящие часы. — Без четверти три. Тогда и остановились. Я потом уж не заводил. Незачем.

Ноль тихо, почти неслышно, произнёс:

— Он это рассказывает второму человеку за пять лет. Первый умер. Не от рассказа. Просто, к слову.

— Ноль.

— Молчу, но записываю. Я всё записываю, Илья. Такая работа. Разведчик. — Дрон качнулся к нему, и в объективе — маленьком тёмном глазке на приплюснутой морде — Илья увидел собственное отражение, крохотное, искривлённое, с повязкой и рыжей щетиной. — Однажды пригодится. Или, наоборот. У записей есть подлая привычка всплывать не тогда, когда надо.

Илья не понял тогда, что означали эти слова, да и понять было нечего — фраза как фраза, брошенная механизмом с чёрным чувством юмора, и он отметил только неуютный холодок под рёбрами и отогнал, как отгонял всё в эти дни.

Он не мог знать — да и как бы он мог, — что этот самый разговор, слово в слово, с заиканиями, с паузами, с «суб-

стратом» и «уровнем Альфа», дрон сохранит целиком и однажды, много позже, у другого костра, среди других людей, воспроизведёт вслух в самый неподходящий, в самый критический момент, когда каждое из этих слов ляжет уликой не на того, на кого падёт подозрение; сейчас же был только холодок и мутное небо.

— Ты сказал — идёшь. — Илья вернулся к главному, потому что боялся, что момент утечёт, а он так и не спросит. — Куда ты идёшь, Алексей?

Алексей ответил без паузы — совсем, не подумав, не прикинув, не сверившись с внутренним списком, где он ставил свои галочки, сразу, будто ответ был готов задолго до вопроса, будто лежал наготове, как патрон в стволе, и вот эта мгновенность и была странной: человек, который цедил слова по капле, который на «оружие?» отвечал одним словом, вдруг выпалил маршрут без запинки, и Илья, сам мастер спотыкаться на лжи, услышал в чужой скорости то же самое, что слышал в своём заикании,

— изъян, трещину, место, где что-то не сходится.

— Зачем? — спросил Илья.

Алексей снова сел на ящик, медленно, провёл ладонью по стоящим часам, по стеклу, стирая пыль, которая тут же оседала обратно.

— Там люди, — сказал он. — Которых нужно защитить.

— Какие люди? В Секторе?

— Не в Секторе. — Алексей поднял на него взгляд, и на

этот раз тот попал точно, тяжело, в упор. — Везде. Те, кто ещё жив. Кто ходит по этим пустошам, колется Источником, верит, что прах сводит с ума, а Сектор спасает. Есть правда, Илья. Про этот мир. Про Источник. Про то, что такое «субстрат». Я не знаю её всю — знаю кусок, и кусок этот такой, что я пять лет не сплю нормально. И вот я всё думаю: есть люди, которых надо защитить от этой правды, потому что они к ней не готовы, потому что она их ломает, как сломала меня, а сломанный человек в пустошах — это труп с отсрочкой.

— А от кого ещё? — Илья почувствовал, что это не всё.
— Ты сказал «или».

— Сказал. — Алексей чуть улыбнулся, и улыбка вышла нехорошая, усталая. — Или их надо защитить от тех, кто не хочет, чтоб они эту правду узнали, потому что «Архос» очень, очень не любит, когда кто-то подходит близко, а Сектор Один — это близко, это самое близко, какое бывает.

Он замолчал; напев не возвращался, дрон висел жёлтый.

— Вот в чём беда, — сказал Алексей тихо, почти самому себе, глядя мимо Ильи, туда, за плечо, где ничего не было. — Я до сих пор не определился, что хуже: защищать людей от правды — или защищать правду от людей. Оба варианта паршивые, в обоих кто-то остаётся в темноте. Я всю жизнь стоял между людьми и чем-нибудь, между ними и хаосом, между ними и приказом, теперь вот — между ними и тем, что они узнают, если дойдут до Сектора. Знаешь, что самое

смешное?

— Что?

— Я иду туда же, куда и они. Я не могу решить, защищаю я их или веду на убой, но ноги идут в одну сторону.

Он усмехнулся, коротко, без веселья.

— Может, в этом и весь фокус: не в том, чтобы выбрать сторону, а в том, чтобы идти, пока выбор сам себя не сделает.

Илья слушал и чувствовал, как внутри что-то отзывается, глухо, больно: он ведь думал ровно об этом — о выборе, которого нет, об альтернативах, одинаково невозможных, о том, что человека, может, вообще несёт, как струйку праха по ветру, и он только придумывает потом, будто выбрал сам.

Он услышал в словах чужого человека собственную незажившую занозу, и это было и страшно, и — странным образом — легче, потому что оказалось: он не один такой, есть ещё кто-то, кто ходит по пустошам со своим погребом внутри.

— Я тоже не выбирал, — сказал Илья вдруг, сам не зная зачем. — Три года назад. Когда за соседями пришли. Я думал, у меня выбор. А теперь думаю — может, и не было. Может, я просто...

Он осёкся, не договорил, оборвал мысль на середине, как обрывал всегда, прикусив её, будто язык, и Алексей не стал вытягивать — только посмотрел, и во взгляде было то самое узнавание, ровное, без осуждения, взгляд человека, который тоже когда-то стоял и смотрел, как забирают людей, только

он стоял рядом, а Илья — в погребке, и разница была огромной и никакой одновременно.

— Не договаривай, — сказал Алексей. — Я понял. Тут все с таким ходят, иначе б давно легли лицом к стене и не встали.

Он поднялся снова, отряхнул штаны. — Пойдёшь со мной?

Вопрос упал в тишину и остался лежать. Илья смотрел на этого человека — светловолосого, с застывшими часами, с напевом-петлёй, которого он сам не слышит, со взглядом мимо, на дрона с эмблемой врага на боку, с чёрным юмором и жёлтой лампочкой, — и понимал, что не знает о них ровным счётом ничего, что «идёт в Сектор Один» этот бывший военный сказал слишком быстро, что за словами «защитить людей» пряталось что-то, чего Алексей недоговаривал так же, как Илья недоговаривал про погреб, — понимал всё это, и всё равно: всё равно один — хуже, а он уже прошёл два дня один и знал теперь цену тишине без дна, знал, как пустошь работает зеркалом, отражая не мир, а того, кто идёт, знал, что наедине с собой он додумается до края и, чего доброго, шагнёт за него, и живой голос рядом — пусть чужой, пусть с трещиной, пусть с записывающим дроном — был якорем, не спасением, якорем, чтобы не унесло.

— Пойду, — сказал Илья.

— Не боишься, что я тебя в этот Сектор веду не спасать, а на убой? Ты ж сам сказал — не знаешь меня.

— Боюсь.

— И всё равно идёшь.

— Всё равно иду. Одному х-хуже.

Заикание — опять на простом, но на этот раз Илья не поморщился, не закрыл глаза, потому что это была правда, чистая, без хвоста лжи, и тело споткнулось не оттого, что он врал, а оттого, что говорил слишком честно, а честность иногда даётся тяжелее лжи. Алексей кивнул — коротко, галочка в невидимом списке.

— Честный ответ, — сказал он. — Тупой нож — честный нож. Ладно. Ноль, обнови вероятность.

Дрон качнулся, лампочка на боку мигнула и снова стала зелёной.

— Вероятность враждебного контакта между присутствующими: два процента, — объявил он. — Вероятность, что двое сломанных дойдут до Сектора Один живыми: не спрашивайте. Вероятность, что по дороге станет ещё хуже, прежде чем станет лучше: сто. — Пауза. — Впрочем, «лучше» я в расчёт не закладывал. Нет исходных данных. Не встречал.

— Он всегда такой? — спросил Илья.

— Всегда, — сказал Алексей. — Раньше был хуже. Кто-то его перепрошил перед тем, как бросить, влил чувство юмора — дрянное, чёрное, но своё. Я иногда думаю, это самое человеческое, что осталось на всех пустошах: механизм, который шутит, чтоб не сойти с ума. Хотя у него и ума-то нет.

Так, схемы.

— Ум есть, — обиделся Ноль. — Просто я им не пользуюсь без крайней нужды. Берегу. Ресурс.

— Кто тебя перепрошил? — спросил Илья.

— Хороший вопрос, — сказал Ноль. — Следующий.

Илья посмотрел на них двоих — на человека и машину, на застывшие часы и жёлто-зелёную лампочку, — и впервые за три дня, за три года, если честно, почувствовал что-то, отдалённо похожее не на надежду, нет, для надежды тут не было почвы, а на то тихое, что бывает, когда после долгого одиночества рядом появляется кто-то, кому тоже плохо: не легче становится, просто перестаёшь быть единственным в своей темноте.

Они собрались быстро — так как собирать было почти нечего; Алексей вскинул на плечо потёртый вещмешок, поправил на запястье стоящие часы жестом привычным, почти бессознательным, таким как крестятся верующие, и двинулся к выходу с площадки, туда, где битый асфальт снова уходил на запад, в муть, а Ноль поднялся выше, развернулся носом вперёд, пошёл в разведку, метрах в тридцати впереди, покачиваясь, ощупывая невидимыми лучами прах и руины.

Илья шёл следом за Алексеем и слушал, как тот снова, сам того не замечая, тихонько запел — та же петля, четыре-пять нот без слов, по кругу, по кругу, — и хотел было спросить, что это за мелодия, но не стал: у всех тут по своей вещи, одна на человека, у Ильи — тёплый амулет в сумке, у Алексея —

стоящие часы и эта петля, и не спрашивают, носят.

Они отошли от громады небоскрёба на добрую версту, когда Илья обернулся — сам не зная зачем — и посмотрел назад, на срезанный наискось обломок, на чёрные провалы между уцелевшими зубами этажей, на площадку, где только что сидел чужой человек, а теперь никого, и на секунду — на одну только гнилую, скользкую секунду — ему показалось, что там, у входа, на битой площадке, всё ещё сидит фигура на ящике, сгорбившись, неподвижная, и рядом с ней висит, покачиваясь, что-то маленькое, будто они с Алексеем и не встали, будто до сих пор там, а эти двое, что идут на запад, — кто-то другой, чужой, ненастоящий.

Он моргнул — никого: пустая площадка, пустой проём, пустой мир.

— Устал? — спросил Алексей, не оборачиваясь.

— Мерещится, — сказал Илья.

— Тут всем мерещится. Прах. Или не прах. — Алексей пожал плечами. — Ноль говорит, это нормально. Правда, он и про ненормальное говорит, что нормально, так что верить ему в этом смысле...

— Я всё слышу, — сказал дрон впереди.

— Знаю, — сказал Алексей. — Я для тебя и говорю.

Они пошли дальше — трое, двое сломанных и один механизм, чья лампочка светила ровным зелёным, шли — на запад, туда, где мутное небо тлело рыжеватым, будто там, за краем, что-то дотлевало и никак не могло догореть до конца.

Щебень хрустел под ногами, петля мелодии крутилась, часы стояли на без четверти три. Где-то в приплюснутом побитом корпусе, среди схем, которыми Ноль обещал не пользоваться без крайней нужды, тихо, никем не замеченный, лежал только что записанный разговор — слово в слово, с заиканиями и паузами, с «субстратом» и «уровнем Альфа», — и ждал своего часа, своего самого неподходящего часа.

Глава 4. Разница в результатах

К третьему дню пути Илья понял одну вещь про пустоши: они не были пустыми. Это выяснилось не сразу — первые дни он шёл и видел только смерть, ржавые скелеты машин, обвалившиеся стены, прах, который лип к штанинам и оседал в лёгких сладковатой пылью, и думал: мёртвый мир, кладбище без могильщика. Но пустоши только притворялись кладбищем: на самом деле в них что-то жило — не так, как живёт трава или человек, а так, как живёт запущенная болезнь, тихо, изнутри, до поры.

К полудню Ноль в третий раз развернулся носом на север и завис.

— За нами идут, — сказал он.

Алексей не остановился, только чуть повёл плечом — жест, за которым, Илья уже научился это читать, пряталась мгновенная перестройка всего тела: вес переместился, рука приблизилась к поясу, шаг стал ровнее и тише.

— Сколько?

— Трое. Может, четверо. Держатся в мёртвой зоне за грядой. Идут с закатом за спиной — грамотно. Слепят.

— Давно?

— С утра.

— Что ж молчал.

— Ждал, пока это станет вероятностью, а не паранойей,

— отозвался дрон. — Разница в цифрах. Теперь — тридцать один процент, что это нападение. Растёт по проценту в четверть часа. К вечеру будет некрасиво.

Илья слушал этот обмен и чувствовал, как под рёбрами шевельнулся знакомый мерзкий холодок — тот, что жил в нём с погреба, с засова, с зажатых ушей. Тело хотело одного: свернуть, спрятаться, вжаться в любую щель и переждать, и он знал это желание в лицо, три дня назад он поддался бы ему не думая, но сейчас сжал зубы и пошёл дальше, шаг в шаг за Алексеем, потому что бежать было некуда, а прятаться в открытой пустоши — всё равно что прятаться на ладони.

— Кто они? — спросил он тихо.

— Падальщики, — сказал Алексей буднично, как называют погоду. — Идут за слабыми. За теми, кто выбился из сектора без нормы Источника. Ждут, пока такой ослабнет, сядет, перестанет отбиваться, потом забирают в плен — не убивают сразу, это лишний труд, ждут, когда прах сделает работу.

— Что делать.

— Идти. Не показывать спину. И надеяться, что мы им покажемся дороже, чем стоим.

Они шли ещё час; солнце — мутное пятно за взвесью праха — сползало к западу, и тени руин удлинялись, тянулись через разбитый асфальт, как пальцы, ощупывающие дорогу, и Илья ловил себя на том, что смотрит не под ноги, а на эти

тени, и в каждой мерещилось движение, впрочем, в пустотах всем мерещится, прах, или не прах.

Шоссе здесь взбиралось на пологий гребень, и по обе стороны торчали остовы заправки — покорёженные колонки, ржавый навес, провисший под собственной тяжестью, будто мир держали за шкуру, и он обмяк, — и за навесом что-то блеснуло, стекло, решил Илья, осколок, поймавший закат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.